

В. Рыжаков
Загадочная душа
Рассказ

*Я сидела на крыльце
С выраженьем на лице.
Выражала на лице,
Что сижу я на крыльце.*

Дул сильный ветер. Солнце бледным пятном запуталось в облаках, которые дымными космами стремительно неслись низко над землей и осыпали все и вся мелкой назойливой сыростью.

Накинув целлофановую пленку, я нахохлясь сидел с удочками. Вокруг меня истекали слезами голые таловые кусты. На середине Волги зябко и неприкаянно металась на ветру и тоскливо всхлипывала одинокая чайка. О берег бились серые взъерошенные волны.

Одним словом, погода была, как выражаются рыбаки, мерзопакостная.

Я продрог и давно бы смотал удочки, но меня удерживал хороший клев, которого, кстати, я не замечал, так как удилица мои отчаянно болтались из стороны в сторону. Я вытаскивал вслепую и потому не испытывал от рыбалки никакого удовольствия.

А любительская рыбалка – это своеобразная азартная игра. Подрагивание поплавка или лески – волнующе-радостный раздражитель, и он держит тебя в блаженно-томительном напряжении. Ты весь внимание, ты весь звенишь пронзительно-сладкой струной.

Поклевка.

Слабая.

Еще поклевка.

Рука твоя замерла в мучительном ожидании. Река, удилище, леска, берега, небо, солнце, облака – все в одном – поклевка.

Ты резко подсекаешь и тут же с горечью осознаешь – рано, не выдержали нервы. На мгновение обиженно расслабляешься, забрасываешь и снова замираешь.

А без напряжения, без азартной кошачьей затайки рыбалка превращается в скучное вытаскивание рыбы.

Поначалу я пытался приспособиться к ветру, изловчался наблюдать за удилицами и так и этак, но ветер то затихал, то бесновался, то с одной стороны, то с другой, то с какими-то завихрениями.

Я пробовал ловить наощупь – держал удилице в руках, раздражался, нервничал, выдергивал невпопад, наконец, измучился, плюнул, положил удилице на рогульки и стал просто выжидать время. Пройдет минут пять – вытаскиваю – сидит. То окунь, то сорожка, то подъязык. Снимаю и опять нахохлившись выжидаю. Опять вынимаю.

А дождь сыплет и сыплет. На небе никакой надежды. Беспросветная наволочь.

Встать бы, походить, размяться – не хочется. Кругом сырь. С кустов течет, под ногами грязь. Руки мокрые, удилица мокрые, лицо мокрое, одежда под целлофаном отсырела. И глянуть не на что. Серая Волга, серое небо, серая земля.

У-у-у-у! – простуженно-хрипло загудело пониже за поворотом. Из-за кустов, неподалеку от берега, показался обшарпанный дебаркадер. Деревянный, дряхлый весь, увешенный по бортам лысыми кренделями автомобильных покрышек.

Поначалу мне подумалось, что дебаркадер медленно барахтался встречь течения самостоятельно, но потом разглядел, что к его борту приляпан довесок, крохотный железный утюг-буксирчик, на носу которого висел непомерно огромный баллон, вероятно, от колесного трактора.

Буксирчик, как муравей, натужно волок свою жертву, развернутую задом наперед. Сложилось впечатление, что он поймал ее второпях да так и тянул.

Интересно, как он пришвартует дебаркадер к берегу? Развернет, но тогда он окажется у береговой стороны. И осилит ли он развернуть? Не унесет ли его вместе с пристанью быстрое течение?

Пока я рассуждал, все образовалось очень просто.

Буксир, сминая таловые кусты, прижал дебаркадер к песчаному берегу. Из железной рубки высунулся рулевой, крикнул:

– Ну, как?!

– Нормально, – ответили с дебаркадера, и грузный мужик в телогрейке спрыгнул на берег, за ним – другой. Третий остался на пристани. Он сбросил спрыгнувшим конец троса, а когда они ухватили его и поволокли куда-то в мокрые кусты, огляделся и недоуменно закричал:

– Эй! Эй!

– Чего? – остановились мужики.

– Так это... не того... – и он указал руками на корму впереди и на нос дебаркадера сзади.

Мужики переглянулись, с минуту помедлили, глянули на серое небо, из которого сыпал дождь, на всклокоченную Волгу, и один из них решительно махнул рукой.

– Ладно, Петрович, сойдет. Потом, когда погода уляжется, как-нибудь переставим.

Петрович потоптался в нерешительности.

– Только смотрите... – и спрятался от дождя в пролет пристани.

– Ну, – отозвался из кустов мужик, – слово – закон, Петрович.

Я улыбнулся.

По горькому опыту я убедился, что у нас на Руси за всю мою жизнь слово никогда и ни для кого не являлось законом. Оно всегда оставалось лишь гортанным звуком и никогда не крепилось ни человеческой честью, ни человеческой совестью.

И приучили к этому людей государственные горе-правители. Безграмотные, безответственные, безжалостные и лживые. Они попадали к власти не в силу талантов и способностей, а случайно, по воле какого-то злого рока или долго, упорно и унижительно вылизывали себе власть змеиным языком. Они, как чумой, заражали своей лживостью всех своих чиновников, а те развращали народ.

Не оттого ли верховная власть на безбрежной Руси превращалась в драконово пугало или в тайное посмешище? Мели Емеля – твоя неделя. Да и как можно уважать ту власть, во главе которой стоит сапожник, или свинопас, или косноязычный индюк, обвешивающий себя, как иконостас, бляхами или медалями и кричащий на каждом перекрестке: «Да здравствует я».

Слово – Закон, Петрович...

И стоял обшарпанный дебаркадер, наскоро кое-как приляпанный к берегу задом наперед, с весны и до самой глубокой осени.

Кто и зачем распорядился поставить его на пустынном месте? – известно только Всевышнему, да и ему вряд ли, потому что есть предел человеческим возможностям, но нет предела человеческой глупости.

Со шкипером Петровичем я познакомился в первую же неделю, в грозу, которая загнала меня на бесхозную пристань.

– Можно? – нерешительно потоптался я на шатких кривых досках, перекинутых на берег.

– Давай, давай, бедолага. Специально для тебя и поставили, – кисло улыбнулся Петрович и отвернулся в сторону.

– Ка-ак?!

– А вот так. Прошлый раз начальство увидало, что ты, бедолагина, мокнешь под дождем, и решило тебе потрафить.

– Ну, спасибо ему.

– Конечно, спасибо. Оно у нас заботливое.

Говорил он тягуче-медленно, неохотно, будто волок по песку непомерно тяжелый воз. Сине-голубые глаза его при этом рассеянно-равнодушно смотрели в неопределенную даль – в никуда и не выражали ничего.

Ничего, кроме усталости и тоски, не выражало и его небритое лицо.

По крыше пристани хлестал дождь, сверкали молнии, громыхал гром, но все это нисколько не трогало и не интересовало его. Казалось, появившись сейчас из бушующей Волги ихтиозавр, Петрович с одинаковым ленивым безразличием глянет на чудище и как бы скажет: «Ну и что?» – и отвернется.

– Клюет? – неожиданно произнес Петрович, не поворачивая головы, одними губами, словно выплюнул намернувшееся слово.

– Да вот, – я достал из рюкзака целлофановый пакет с рыбой.

– О-о-о! Смотри-ко... Надо же... – и в сине-голубых глазах его впервые шевельнулось что-то живое. – И это тут?

– Тут.

– Надо же, – озадаченно качнул головой Петрович, – и лещишко... Может, уху сварганим? У меня вон и керосинка, и кастрюлька есть.

– Можно, – согласился я, – только не на керосинке. Ну ее к шуту. Сейчас дождик кончится, обсохнет и сварганим на костерке с дымком, – и я протянул ему пакет с рыбой.

– Зачем? – удивился он.

– Пока вы чистите, варите – я после дождичка порыбачу.

– А-а-а, – и вспыхнувшая живинка в васильковых глазах шкипера неожиданно появилась, лицо снова приобрело тоскливое равнодушие.

Принимая от меня рыбу, он оглядел ее и скривился.

– А однако мелка... Окуньки, ершишки...

– Зато навар с них хорош.

– Оно та-ак... Да уж больно канителиться-то с ней хлопотно.

– А ты что, спешишь куда?

Петрович уловил в моем голосе иронию, обиделся и возвратил пакет с рыбой.

– А ты на что рыбачишь-то?

– На червя.

– А на хлеб не пробовал?

– Рано еще, червей надо.

– А где их взять-то?

– Да вон в оврагах – полно.

– Эко, даль-то... – Петрович сиротливо и нехотя глянул в сторону гористого берега и позевнул. – Пойду, пожалуй, кипятку согрею.

– А уху?

– А ну ее... Пошутил я. Да и дров-то тут в кустах не найдешь.

Шкипер лукавил. Дров в прибрежных тальниках после половодья – залежи, костры, и он это знал. Но за ними надо идти, потом чистить рыбу, разводить костер, варить...

Прошла весна, лето, началась дождливая осень, а дряхлый дебаркадер все скрипел и скрипел возле зябких прибрежных кустов. Течением его давно оттянуло на несколько метров вниз, шаткие сходни из досок перекошились и едва держались на веревке. И каждый раз, когда я с великим трудом, балансируя и чертыхаясь, забирался по ним, Петрович обещал:

– Ужо как-нибудь соберусь, поправлю.

Никто к дебаркадеру не приставал и не чалился, однако шкипер нес свою вахту добросовестно. Даже больше чем добросовестно. Он сидел на своем посту круглосуточно и отлучался лишь два раза в месяц за «зряплатой».

В такие дни он оживал. Брился, умывался с мылом, снимал драную засаленную телогрейку, заскорюзлые кирзовые сапоги, надевал мятый форменный китель, фуражку с кокардой, черные брюки и черные ботинки.

– Прямо хоть под венец, – подшучивал я.

Петрович снисходительно улыбался.

– Ты тут, будя, глянь.

Я охотно кивал головой.

– Меня не будет до вечера.

– Слушаюсь, Петрович.

И Петрович улыбался еще шире. Ему явно нравилось мое – слушаюсь. Оно, вероятно, напоминало шкиперу его былые дни, когда он плывал по матушке-Волге капитаном какого-то судна.

Потом случилось то, что нередко случается с волгярами и моряками. Молодые жены не все выдерживают испытания на неограниченную свободу, а лесенка с капитанского мостика вниз крутая...

Возвращался Петрович с туго набитым рюкзаком. Приносил продуктов до следующей полочки. Набор его состоял из хлеба, консервов и бутылок. Иногда он

возвращался в таком состоянии, что, как в диком лесу, блуждал по таловым кустам и кричал:

– А-у-у-у! А-у-у-у, бедо-ла-га!

Он меня почему-то всегда звал бедолагой.

Я выводил его и заволакивал на его родной дебаркадер.

После «зряплаты» шкипер на несколько дней, как медведь, залезал в свою берлогу – каюту, потом вылезал, дико озирался, маялся животом. Пил прямо из рожка замызганного, мятого и грязного алюминиевого чайника воду и бегал в туалет. При этом получалась довольно любопытная ситуация.

В туалет он бегал на корму, а воду для питья черпал с борта. Дебаркадер же стоял задом наперед, и выходило, что воду он брал почти из-под рундука.

Я как-то посмеялся:

– Ты, Петрович, развернул бы свою посудину, а то где снешь тут и пьешь.

– А иди ты... – огрызнулся он, – сам такую же лопаешь. Посмотри, сколь заводов, и все выше города, и все построены без очистительных сооружений.

На этом наш разговор о гигиене и оборвался. Шкипер срезал меня напрочь, подрубил под самый корень.

Я оглядел город и с великой горечью подумал: «Да-да, он пьет хоть собственные отходы, а я чьи». Мне вспомнились десятки зловонных ручейков и речек и масса потайных труб, которые изрыгают в Волгу и Оку вонючий смрад, я закашлялся, схватился за живот и побежал в кусты.

– Что, бедолага, – загоготал Петрович, – аль тоже бормотухи хватил?

– Хватил, хватил, – простонал я из кустов.

С этого дня я относился к шкиперу более осторожно. Я понял, что за его неказисто-неряшливой внешностью таится глубокий ум, но в силу обстоятельств неостребованный и оттого ленивый, и равнодушно-созерцательный. Все суета сует, говорил его усталый отрешенный взгляд. И хотя Петровичу не было и пятидесяти, выглядел он, из-за наплевательского отношения к себе, глубоким стариком.

Одинокая коренастая фигура шкипера на скрипучем дебаркадере вызывала во мне гнетущую жалость, напоминала безысходно-горькую картину Врубеля «Демон» и слова Лермонтова:

И дик, и чуден был вокруг

Весь божий мир, но гордый дух

Презрительным окинул оком

Творение Бога своего,

И на челе его высоком

Не отразилось ничего.

В любую погоду Петрович с одинаковым равнодушием сидел на своем деревянном диване и каменным истуканом смотрел вдаль, как будто только там, где-то в туманной запредельности могло произойти что-то значительное и достойное, а все, что творилось вокруг, – мелко, скучно и давным-давно известно.

– Но ведь есть, должно же быть что-то? – лениво говорил он то ли мне, то ли самому себе.

– Бог, Петрович.

– Не зна-а-аю... Может быть... Но если он есть, то он самый одинокий и самый несчастный.

– Почему?

– Потому... Он Бог... Он все знает наперед. А это... не-ет... не позавидуешь.

Я не возражал. Да Петрович и не ждал от меня никаких возражений, он сказал:

– Ты вот, бедолага, мужик грамотный, объясни ты мне, речному окуню, почему это из мертвого песка вырастает живой таловый куст?

– Ну, милый, ты и сам это прекрасно знаешь. Солнце, воздух, вода...

– Верно, но все это мертвое... А куст-то живой... – помолчал, пожевал губами и вздохнул. – Не знаешь? Вот и я не знаю. И ни черта-то мы с тобой, бедолага, не знаем.

– Ты, Петрович, словно дитя и вопросы у тебя детские – неразрешимые. Кто вперед появился: яйцо или курица?

– Да, кто?

– Вот тебе и да... Лучше бы ты рыбу удил. А то маешься дурью, а ешь один хлеб с водой.

– Рыбу, рыбу... – обиделся Петрович, – у меня и удилица-то нет.

– Срежь вон хлыст ореховый, ошкурь...

– Срежь... Ошкурь... А леску?

– Купи. Или... – я порылся в своем рюкзаке и протянул ему моток жилки.

– А она не прелая? – без интереса разглядывая подарок, спросил Петрович.

– Судака вытацишь.

– Ну ин ладно. Будя схожу, удильник срежу. Ореховый, говоришь?

– Он прочнее.

– А ты ножа мне не оставишь, а? А то у меня уж очень что-то тупой.

– Нет, нож не оставлю. Наточи свой.

– Да я бы... а на чем?

– О голыш. Их по берегу – любой выбирай.

– Вот разве... А может... У меня уж очень плох. А завтра я бы тебе вернул.

– Завтра я на озера поеду.

– А... ну-ну, – помолчал, опробовал прочность жилки. – А крепкая, зараза, – и вдруг озарился какой-то мыслью. – Так поплавок же надо.

– Да, конечно. И грузило, и, наверно, крючок, – засмеялся я, доставая все необходимое.

Петрович принял от меня и крючок, и грузило, и поплавок без особого восторга, скорее, с каким-то недовольством.

А на другой день он удил. Я тайком наблюдал за ним из кустов.

Никакого удилища он, понятно, не срезал, никаких червей не накопал. Он ловил на свой заскорузлый хлеб. Ловил с кормы – носа пристани, лежа на животе, раскинув ноги в тяжелых кирзачах, которые как бы служили ему противовесом, когда он слишком далеко высовывался за борт. Удилищем ему служил собственный указательный палец с привязанной к нему жилкой.

– Бог помощь, – вышел я из кустов.

– Бог спасет, – не меняя положения и не поворачиваясь, ответил шкипер.

– Клюет?

– Клюет, да никак не подсечешь, заразу.

– Значит, великая слишком.

– Во, – он вынул из пол-литровой банки рыбку с мизинец. – Нет ли у тебя заглотыша?

– Есть, Петрович. У меня все есть.

Я шагнул на шаткие сходни. Они поползли, и я едва не свалился в воду.

– Ты бы хоть поправил, что ли?

– Ладно... Ужо...

– Да ведь не сделаешь.

– А на шут они кому нужны...

– Так тебе же самому.

– А на что? – Петрович даже удивленно повернул ко мне голову.

– Ну да, конечно... – согласился я. – Держи крючок-то.

Шкипер нехотя поднялся, попробовал сойти ко мне на берег – не смог и с досадой крикнул:

– Кидай!

– Ты что, смеешься, что ли? Как я его перекину? Да и как ты его найдешь? У тебя же кругом щели.

– А ты его заверни.

– Во что?

– В газету.

– Я не читать пришел.

– Какой же ты право... – рассерженно проворчал Петрович. – Воткни вон в щепку и брось.

Я нашел скрученный рулончик бересты, вонзил в него три крючка – заглотыша и перекинул на дебаркадер.

Видя, что я ухожу, шкипер спросил:

– Не сядешь рыбачить-то?

– Нет. Я в луга за шавелем, да зеленого луку жена просила нарвать на пироги.

– На пироги... – Петрович пожевал губами, – недурно. Пироги с диким луком, – сглотнул слюну, – он и с хлебом неплохо...

– Ну, бывай, Петрович.

– А ты обратно-то зайдешь?

– Не знаю.

– Зайди. Я тебя ждать буду. – Лег рыбачить и, думая, что я ушел, сказал сам себе: – Чай и я дикого-то луку хочу, и соль у меня есть.

Я улыбнулся и через кусты зашагал в луга.

В начале июля, когда клев спадает, я часто ходил за земляникой, за крупляникой, за первыми боровиками – колосовиками, за маслятами, лазил по приозерным кустам за черной смородиной, а Петрович все сидел на колченогом деревянном диване, жевал черствый хлеб с водой и тоскливо смотрел в мутную даль. Рыбачить ему надоело, и принесенное мной ореховое удилище бесхозно валялось на дебаркадере с печальным обрывком лески.

Я ходил на старую порубку, которая сплошь заросла молодой малиной, а трухлявые пни – шапками румяных длинноногих опят в кокетливых балетных сарафанчиках. Я нарезал их по полному рюкзаку. Сушил, мариновал, жарил.

Позднее в таловых кустах, рядом с дебаркадером, поспела сизая ежевика. Из нее мы с женой варили отличное варенье. Кисловатое, с запахом знойного дурмана.

В августе снова начался клев. Рыба готовится к зиме и, как говорят рыбаки, жирует.

Однако жирует в это благодатное время не только рыба, жируют и птицы, и звери, и всякая живая тварь. Жирует и человек. Да и как не жировать. В садах нежатся краснощекие яблоки, желтые восковые груши, заревом рдеют вишневые заросли, янтарными висюльками осыпан сердитый крыжовник, в черно-сизые подвески нарядились сливы. А в огородах под лопухами листьев прячутся огурцы и лоснятся округлыми боками жирные тыквы, праздничными фонариками горят сочные помидоры, индюками надулись, готовые вот-вот лопнуть, скрипучие кочаны капусты, стучит-брякает в сухих коробочках горох, почернели бобовые стручки.

Поля ощетинились пустынно-грустным жнивьем, на котором вольготно пируют стаи отяжелевших скворцов и грачей. Кое-где еще не скошен и серебряно вызванивает метелками в прозрачный полдень овес, да сердито топырится остью ячмень. По ставным лугам грузными лосями бродят стога, на солнечных гривах пожаром полыхает шиповник.

В лесу на волглых полянах табуняются и, как малые дети, играют в прятки грибы.

Ау! Ау!

И озорно выглядывают из-под жухлой травы. По зыбким болотам рубиновыми бусами рассыпана клюква.

В эту пору меня каждое утро терзали две страсти. Страсть рыбака рисовала перед глазами тихие туманные заводи и неистовый клев, а страсть грибника – звонкие березовые перелески, ватаги ядерных красноголовиков и важных осанистых толстобрюхих боровиков.

Я хватал корзинку, наскоро собирал завтрак и мчался в лес. Ходил и за орехами, и за клюквой, и за черникой, а чаще всего – за грибами.

А Петрович по-прежнему сидел на своем скрипучем дебаркадере и с философским равнодушием смотрел в призрачную осеннюю даль.

Я регулярно заворачивал к нему отдохнуть, вытрясти из резиновых сапог мусор, сполоснуть с лица паутину и пот. Угощал шкипера ягодами, малиной, ежевикой, которую нарвал тут же подле него, смородиной, черникой, орехами, дикими лесными яблоками, оставлял ему то грибов, то рыбы, насыпал для заварки ядерного шипу.

– Ты гляди-кось – неизменно удивлялся он моим удачам, – где это ты? – равнодушно слушал мои объяснения и, позевывая, говорил: – Тебе хорошо, а я вот на службе.

Изредка, усталый и утомленный, я проходил мимо дебаркадера. Петрович обижался и в следующий раз выговаривал мне:

– Ты чегой-то, бедолага... Негоже... Я тебя жду, жду, а ты... – и брал уже подарки сам без всякого разрешения и в двойном размере.

В октябре я ходил в лес за последними грибами – зеленухами. К Петровичу в тот раз не зашел.

Дул промозглый северный ветер, по моей целлофановой накидке усиленно барабанила колючая снежная крупа – предвестница долгой зимы.

Петровича на дебаркадере не было видно. Он, вероятно, сидел в своей замусоренной каюте у окна и сквозь запыленное и засиженное мухами стекло смотрел в мутную даль.

18 декабря 1994 г.

603109, Ильинская, 32 – 41

Н. Новгород

Тел. 33-13-23

Рыжаков В.С.